

Говард Филлипс Лавкрафт

Празднество

(The Festival)

Вдали от дома я был под властью чары восточного моря. В сумерках я слышал, как оно билось о скалы, и знал, что оно расстилается как раз за холмом, где криворослые ивы извиваются ветвями на фоне разволакивающегося неба и первых вечерних звезд. И я брел по неглубокому снежному новопаду, вдоль по дороге, одиноко взбирающейся вверх, где среди деревьев мерцал альдебаран, потому что праотцы призывали меня в старый город за холмом — в тот стародавний город, которого я никогда не видел, но о котором часто грезил.

Наступила пора зимнего солнцеворота, который люди зовут Рождеством, хотя знают в тайная тайных души, что он старше, чем Вифлеем и Вавилон, старше, чем Мемфис и человечество. Наступила пора зимнего солнцеворота, и я пришел наконец в древний город у моря, где жили мои родичи, которые справляли празднество в те стародавние времена, когда праздновать его было заказано, и где они и детям своим заповедали справлять празднество раз в сто лет, чтобы не забывалась память об изначальных тайнах. Мои родичи — древний род, и древним мой род был уже тогда, когда три сотни лет назад эта земля заселялась. И были они чужаки, потому что темнокожими беглецами пришли они с полуденной стороны с ее садами дурманно пахнущих орхидей и говорили на другом языке, прежде чем выучились наречию голубоглазых рыбаков. И теперь их, рассеянных по свету, связывали лишь обряды таинств, не внятных никому из живущих. Я был единственным, кто в эту ночь возвращался в древний рыбацкий город, как повелевало предание, ибо только одинокие и бедные наделены даром памяти.

Потом за вершиной холма я увидел Кингспорт, простирающийся в студеном сумерках; заснеженный Кингспорт с его старинными флюгерами и шпилями, гребнями крыш и дымовыми вытяжками печных труб, причалами и мостками, ивами и погостами; беспредельными лабиринтами крутых, узких, кривых улиц и головокружительной, увенчанной церковью крутизной в центре, которую не посмело тронуть и время; бесконечной путаницей домов в колониальном стиле, нагроможденных и раскиданных так и сяк, то выше, то ниже, словно в беспорядке разбросанные детские кубики; с его выбеленными зимой двускатными кровлями и фронтонами, над которыми реяла седая древность; с его окнами веером и мелкими оконницами, загоравшимися одно за другим в холодной полумгле, чтобы присоединиться к Ориону и вековечным звездам. И об утлые причалы билось море; берегущее свои тайны, испоконное море, из которого в стародавние времена вышел род людской.

У дороги на перевале поднималась еще более высокая круча, голая и открытая всем ветрам, и я увидел, что это могильник, где черные надгробия отвратительно торчали из снега, словно сгнившие ногти великанского трупа. Дорога, не отмеченная отпечатком ничьей ноги, была очень одинокой, и временами мне чудилось далекое жуткое поскрипывание, словно от виселицы на ветру. В 1692 году повесили четверых моих родичей за колдовство, но где именно, я не знал.

Когда дорога, петляя, стала опускаться по склону со стороны моря, я прислушался, не слышно ли веселого вечернего шума в деревне, но ничего не услышал. Тогда я вспомнил о празднике и ощутил, что этот издавна пуританский народ вполне мог придерживаться рождественских обычаев, незнакомых мне и обильных молчаливой молитвой, у домашнего очага. После того я не старался ловить звуки веселья или найти попутчиков и продолжал свой путь мимо безмолвных, освещенных изнутри деревенских домов и сумрачных каменных стен туда, где вывески старинных лавок и приморских таверн скрипели на соленом ветру и уродливые дверные молотки в порталах с колоннами поблескивали вдоль обезлюдевших немощеных переулков при свете, теплившемся в задернутых шторами окошках.

Я смотрел карты города и знал, где найду дом и очаг моих родичей. Было сказано, что я буду узан и привечен, ибо в народе предание живет долго. Итак, я поспешил через Бэк-стрит и Сёркн-кёрт и, перейдя по свежему снегу единственную в городе целиком вымощенную брусчаткой улицу, вышел туда, где позади городских торговых рядов начинался Грин-лэйн. Старинные карты все еще оставались в силе, и я не испытывал никаких затруднений; хотя в Аркхэме мне, должно быть, солгали, сказав, что туда подходит трамвай, поскольку я не видел проводов над головой. Рельсы бы все равно скрыло снегом. Я порадовался, что надумал идти пешком, так красиво белела деревня с холма; а теперь мне не терпелось постучаться у нашего родного порога, седьмой дом налево по Грин-лэйн, старинная островерхая крыша и выступающий над улицей второй этаж, вся постройка до 1650 года.

Когда я подошел к дому, он был освещен изнутри, и по ромбовым клеткам оконниц я понял, что он почти не изменился — такой же, как был исстари. Верхняя часть нависала над узкой, с проросшей травой улицей, едва не касаясь нависающей части дома напротив, так что я оказался почти в туннеле, и совсем не нападало снега на низкий каменный порог. Тротуара не было, но двери многих домов располагались так высоко, что к ним вели двойные пролеты лестниц с чугунными перилами. Это был странный пейзаж, и поскольку я вовсе не знал Новой Англии, то никогда не видал ничего подобного. Хотя вид мне и нравился, я бы наслаждался им больше, будь на снегу отпечатки ног, и люди на улицах, и одно или два окна, не задернутых шторами.

Когда я постучал дверным чугунным молотком, мне сделалось почти страшно. Некоторый страх, возможно, копился во мне на почве странности моего наследия, и суровости холодного вечера, и необычности тишины в этом древнем городе с удивительными обычаями. И когда на мой стук ответили, мне сделалось совсем страшно, поскольку я не слышал шагов до того, как дверь, скрипя, отворилась. Но в страхе я пребывал недолго: покойное лицо стоявшего в дверях старика в шлафроке и шлепанцах меня успокоило; показав знаками, что нем, он начертал затейливое и древнее приветствие стилем по навощенной дощечке.

Он поманил меня за собой в низкую, освещенную свечами комнату с массивными стропилами и темной, чопорной, скудной мебелью семнадцатого столетия. Прошрое представало здесь вживе, поскольку ни одна из его примет не отсутствовала. Был объемистый камин и прялка, за которой ко мне спиной сидела согбенная старуха в просторной шали и глубоком чепце и, невзирая на праздничную пору, молчаливо пряла.

Дом был как будто проникнут неопределенной сыростью, и я подивился, что в камине не пылает огня. Скамья-ларь с высокой спинкой стояла против ряда задернутых шторами окон по левую сторону и, казалось, не пустовала, но наверное я не знал. Что-то не понравилось мне в том, что я увидел, и я снова ощутил былой страх. Страх этот возрастал от того, чем прежде умалялся, ибо, чем больше я вглядывался в покойное лицо старика, тем больше сама эта покойность ужасала меня. Глаза все так и смотрели в одну точку, и кожа слишком уж отзывалась воском. Наконец я уж не сомневался, что это и не лицо вовсе, а дьявольски хитроизготовленная личина. Но дряблые руки в странных перчатках писали радушные слова по навощенной дощечке, говорившие, что мне предстоит подождать, пока меня не поведут на празднество.

Указав мне на стул и стол с грудой книг, старик удалился из комнаты; и когда я засел за чтение, то обнаружил, что книги тронуты пылью и тленом веков и что в их числе фантастические «Чудеса науки» старого Морристера, ужасные «Sadnscismus Triumphatus» Джозефа Глэнвила, отпечатанные в 1681 году, убийственная «Daemolatria» Ремигиуса, набранная в Лионе в 1595 году, и, что хуже всего, непоминаемый «Некрономикон» безумного араба Абдуль Альхазреда в запрещенном латинском переводе Олауса Вормиуса — книга, которую я никогда не видел, но чудовищные слухи о которой знал.

Никто не заговаривал со мной, но я слышал поскрипывание уличных вывесок на ветру и жужжание прялки, колесо которой молчаливая старуха в чепце все вращала и вращала. И сама комната, и люди, и книги отдавали чем-то очень болезненным и вызывали во мне дурные предчувствия, но старое предание праотцов призывало меня на странные пиршества, и я настроился ожидать необычных вещей.

Итак, я попытался читать и вскоре, трепеща, весь ушел в то, что обнаружил в окаянном «Некрономиконе», некую мысль и некое сказание, слишком тошнотворные, чтобы их принимал здравый смысл и рассудок; однако окончательно мне сделалось не по себе, когда почудилось, будто одно из окон против скамьи с высокой спинкой, словно украдкой, закрылось. Закрылось оно как бы вслед некоторому жужжанию, которое не было жужжанием старухиной прялки. Однако то ли это было, то ли нет, ведь старуха вертела прялку изо всех сил, и раздавался бой древних часов.

Вскоре я потерял ощущение, что в комнате присутствуют люди; и читал напряженно и с содроганием, когда старик вернулся обутый в сапоги и одетый в свободное старинное платье и уселся на той самой скамье, где я не мог его видеть. Это было поистине нервное ожидание, и святотатственная книга у меня в руках делала его вдвойне таковым.

Когда же пробило одиннадцать, старик поднялся, бесшумно проскользнул в угол к громоздкому резному комоду и достал два плаща с капюшонами; один из которых накинул сам, другим укутал старуху, оборвавшую свое равномерное прядение. Потом они оба двинулись ко входной двери; старуха, вихляя всем телом, едва ползла; старик же, после того как забрал ту самую книгу, которую я читал, поманил меня за собой, низко надвинул капюшон на свою неподвижную личину.

Мы вышли на улицу в безлунные и кривые хитросплетения этого неимоверно древнего города; вышли, когда огни в задернутых шторами окнах начали гаснуть один за

другим, и Сириус, называемый также Собачьей звездой, ощерился на сонм укутанных в плащи с капюшонами фигур, молчаливо хлынувших из каждой двери и собиравшихся в чудовищные шествия по той и по этой улице, мимо поскрипывающих вывесок и допотопных фронтонов, крытых соломой крыш и окон с ромбовыми клетками оконниц; процессии извивались почти отвесными улочками, где ветхие дома наседали друг на друга и оседали друг с другом заодно; процессии ползли открытыми церковными дворами и погостами, и ныряющие фонари светили там жуткими кривыми созвездиями.

Среди этих затаивших молчание сонмищ я следовал за своими безгласными провожатыми — задеваемый локтями, которые казались противоестественно мягкими, теснимый грудями и животами, которые казались ненормально податливыми, но так и не увидев ни одного лица и не услышав ни одного слова. Все выше и выше вползали наводящие нездешнюю жуть вереницы, и я понял, что потоки сходятся вместе, стекаясь к чему-то вроде сердцевины кривых улочек на вершине крутого холма в центре города, где громоздилась огромная белая церковь. Я видел ее с перевала дороги, когда смотрел на Кингспорт в только что спустившихся сумерках, и она заставила меня вздрогнуть, потому что Альдебаран в течение мига, казалось, сидел на ее призрачном шпиле, не двигаясь ни туда, ни сюда.

Вокруг церкви было открытое место: с одной стороны погост с призрачными деревьями, а с другой — наполовину мощенная площадь, которую ветер почти оголил, сметая снег, и которую обступали зловеще ветхие дома с островерхими крышами и нависающими фронтонами. Огоньки надгробных свечей плясали над могилами, вырывая из тьмы отвратительные картины, но странным образом не отбрасывая теней. За кладбищем, там, где не было домов, я мог заглянуть за вершину холма и наблюдать мерцание звезд в гавани, хотя город лежал невидимым в темноте. Только изредка жутковато нырял фонарь, ползущий по извилистым улочкам вдогонку всему сонму, теперь безмолвно вливающимся в церковь. Я дожидался, пока вся толпа не просочится в черный дверной проем. Старик тянул меня за рукав, но я твердо вознамерился войти последним. Переступая порог в неведомое темное кишение храма, я обернулся, чтобы бросить взгляд на мир за порогом, где кладбищенское свечение отбрасывало блеклый отсвет на мощеную вершину холма. При этом я содрогнулся. Ибо, как ни сметало ветром снег, несколько белых клочков у самой двери все же осталось; и мне на миг померещилось, что снег лежал нетронутым, на нем не было отпечатков ног, в том числе и моих!..

Церковь едва освещалась всеми внесенными в нее фонарями, ибо сонмище почти уже все исчезло. Оно текло по проходу между высокими скамьями к откинутым крышкам лазов в подвалы, которые мерзко разинулись под самой кафедрой проповедника, и беззвучно в них уползало. Безмолвно я последовал по истертым ступеням в темную душную погребальницу. Хвост этой плавно выгибающейся вереницы ночного шествия казался весьма ужасным, и когда я увидел, как он, извиваясь, уползает в древнюю гробницу, он показался и того ужаснее.

Потом я заметил в полу погребальницы отверстие, куда и ускользало все сонмище; через минуту мы спускались по грубо тесаным камням узкой винтовой лестницы, сырой и духовитой странным духом, которая бесконечным изводем уходила во чрево холма мимо одноликих стен из потеющих сыростью каменных плит и поветшавшей известки.

Это было молчаливое и зловещее нисхождение; не знаю, сколько прошло времени, когда я начал замечать, что ступени и стены изменяются по своей природе, делаясь словно бы вырубленными в толще скалы. Что меня тревожило больше всего, так это то, что мириады шагов не производили шума и не вызывали эха. Спустя века нисхождения я заметил ответвления коридоров или нор, из неведомых укромов темноты выходящих в этот шахтный ствол мрачных тайн. Вскоре они сделались излишне многочисленными, словно нечестивые погребальни, безмянно опасные; их тлетворный дух разложения стал вовсе невыносим. Я понимал, что мы, должно быть, прошли холм насквозь и опустились под самый Кингспорт, и содрогнулся от того, что город может так застареть и очерветь подземным злом.

Потом я увидел мертвенно-бледное мерцание мутного света и услышал скрытный плеск тусклых вод. И снова содрогнулся, ибо мне приходилось не по нраву то, что несла с собой эта ночь, и с горечью пожалел, что праотцы призвали меня на этот древний обряд. Ступени и шахта раздались в ширину, и я услышал другой звук, жидкое, подвывающее пересмеяние звука бессильной флейты; и внезапно предо мной распростерлось необъятное пространство некоего нутряного мира — обширный губчатый берег, освещенный изрыгами зеленовато-белесого огненного столпа и омываемый широкой маслянистой рекой, истекающей из бездн неведанных и негаданных, чтобы слиться с вековечным океаном в его чернейших глубинах.

Почти сомлевший и задохнувшийся, взирал я на тот безблагодатный Эреб великанских поганок, зеленовато-белесого пламени и мрачного водоворота и видел, как сонм капюшонов собирается полукругом у огненного столпа. Это был обряд солнцеворота, более древний, чем человек, и предназначенный его пережить; первобытный обряд обетования весны за снегами; обряд огня и вечнозеленого древа, света и музыки. И в этом стигийском вертепе я видел, как они поклоняются мерзейшему огненному столпу и, загребая пригоршнями клейкую поросль, фосфоресцирующую какой-то хлорированной зеленью, бросают ее в воду. Я видел нечто бесформенно скорчившееся подальше от света, шумно насвистывающее на флейте; и под насвистывание этой твари мне почудилось не по добру приглушенное трепетание в злосмрадной темноте, куда не проникал мой взгляд. Но тот полыхающий столп — вулканически извергающий из бездн неизвестных и неохватных; не отбрасывающий теней, как полагалось бы чистому пламени; покрывающий селитристый камень тошнотворно-зеленой ядовитостью меди, — он устрашал меня больше всего. Ибо во всем этом бурлящем горении не было теплоты, но лишь сырой холод смерти и тления.

Мой проводник, извиваясь, протиснулся прямо к мерзкому пламени и стал совершать по строго заведенному чину обряд перед обращенной к нему полукругом толпой. В определенных местах они кланялись, пресмыкаясь во прахе, особенно когда он воздевал над головой гнусный Некрономикон; и я пресмыкался вместе со всеми, ведь на это празднество меня призвало праотеческое писание. Потом старик подал знак в темноту почти невидимому игроку на флейте, и тот игрок перевел слабое однозвучие своей флейты в более громкий звук в другом ключе, чем и поспешествовал ужасу недуманному и негаданному. Вот тогда-то я и осел почти до подернутой лишайниками земли, пронзенный страхом не от мира сего, вообще не от мира, но лишь от безумных провалов меж звездами.

Из невообразимых чернот позади тлетворного свечения холодного пламени, из подземельных пространств, сквозь которые катит свои маслянистые воды та река, сверхъестественно жуткая, неслыханная и негаданная, появилась с размеренным хлопанием стая прирученных и вышколенных крылатых тварей, многоликие которых ни здоровый глаз не ухватывал целиком, ни здравый рассудок не удерживал. Они были не совсем враны и не совсем кроты, не сарычи-стервятники, не муравьи, не кровососы-нетопыри и не разобранные по частям люди, но нечто такое, что мне невозможно и не пристало помнить. Они неуклюже хлопали в воздухе перепонками на ногах и крыльях; и как только они подлетали к праздничному сонму, капуцины хватали их, усаживались на них верхом и один за другим отправлялись вдоль погруженных в вечную тень берегов в провалы и галереи безотчетного и безымянного страха, где ядовитые источники питают страшные и прикровенные потоки.

Старуха, расставшаяся со своей прялкой, отправилась со всем сонмом, старик же оставался лишь потому, что я отказался по данному им знаку поймать одну из тварей и оседлать ее, подобно всем прочим. Когда я нетвердо встал на ноги, то увидел, что бесформенный игрок на флейте убрался из виду, но два зверя терпеливо дожидались рядом. Я все не решался, и старик извлек стило и дощечку и начертал, что он истинно заступил место моих праотцев, которые завели обычай справлять солнцеворот в этом древнем месте; что возвращение мое было предопределено и что самые сокровенные таинства еще впереди. Он начертал это очень старинным письмом и, видя, что я все еще колеблюсь, вытащил из складок своей хламиды именной перстень и часы, и то и другое с моим семейным гербом, в доказательство того, что он есть тот, за кого себя выдает. Но это было страшное доказательство, ибо из старинных документов я знал, что часы эти были погребены вместе с моим дедом в четвертом колене в 1698 году.

Тут же старик поднял со лба капюшон, указывая мне на черты семейного сходства в своем лице, но я лишь содрогнулся, потому что был уверен, что это просто бесовская личина. Неуклюжие летуны начинали от нетерпения царапать лишайник, и я видел, что и старик впадает почти в такое же нетерпение. Когда одна из тварей заковыляла было, отступая боком, он быстро повернулся, чтобы ее удержать, но сделал это так резко, что сбил свою восковую личину. И тут, поскольку этот дурной кошмар заслонял мне путь к каменной лестнице, по которой мы сошли вниз, я бросился в маслянистую подземную реку, которая, кипя бурунами, неслась куда-то к морским пещерам; бросился в этот гнилостный сок ужасов земляного нутра, пока неистовость моих воплей не обрушила на меня все могильные легионы тех, кого могут скрывать эти чумные бездны...

В больнице мне сказали, что меня окоченелого нашли на заре в Кингспортской гавани, вцепившимся в плавучую перекладину, которую случай послал мне во спасение. Мне сказали, что вечером на холме я пошел не по той развилке и свалился со скал в Орандж-Пойнт, вот что они вычислили по обнаруженным на снегу следам. Мне было нечего сказать, потому что неправильно было все: и когда в широкие окна виднелось море крыш, где примерно только одна из пяти была древней, и когда с улиц доносился шум трамваев и авто. Меня уверяли, что это и есть Кингспорт, и я не мог отрицать.

Когда я пришел в исступление, услышав, что больница стоит неподалеку от кладбища на Сентрал-Хилл, меня отправили в больницу Св. Марии в Аркхэме, где мне был обеспечен лучший уход. Там мне все пришлось по душе, потому что доктора исповедовали широту взглядов и даже употребили свое влияние на то, чтобы добыть ревностно оберегаемую копию предосудительного Альхазредовского Некрономикона из библиотеки Мискатоникского университета. Они говорили что-то такое о «психозе» и соглашались с тем, что мне полезно освободиться от навязчивых мыслей.

Итак, я прочитал ту ужасающую главу и содрогнулся вдвойне оттого, что поистине она оказалась для меня не новой. Я видел ее раньше, и пусть следы свидетельствуют о чем угодно, а где я видел ее раньше, об этом было бы лучше забыть. В яви нет никого, кто бы мог мне об этом напомнить, но мои дремы исполнены дурного кошмара из-за фраз, которые не решусь цитировать. Приведу только один абзац, изложенный по-английски так, как я сумел передать с неуклюжей вульгарной латыни.

«Пустоты преисподние, — пишет безумный араб, — не предназначены для глаз, которые зрят, ибо дивные их дела суть страшные и ужасные. Проклята та земля, где мертвые мысли живут в новой и необычной плоти; и скверна тот разум, чье седалище не голова. Мудро сказал Ибн Счакабао, что радостна та погребальня, в которую не полагали кудесника, и радостна ночь того города, в котором все кудесники развеяны пеплом. Ибо старая молва говорит, что душа спознавшегося с дьяволом не спешит оставить свой скудельный сосуд, но утучняет и наставляет самого червя сосущего, пока из праха разложения не родится мерзкая жизнь; и тупые земляные могильщики умудряются лукаво на то, чтобы земле досаждать, и раздуваются уродливо, чтобы ее терзать. Огромные язвины протачиваются там, где пор земли должно быть достаточно, и научается ходить тварь, которая должна пресмыкаться».

Перевод: Нина Бавина

2011 год